



Написать о Бабеле так, чтобы это было достойно его, — трудно. Это задача для писателя (хорошего), а не для человека, который хоть и влюблен в творчество Бабеля, но не очень силен в литературном выражении своих мыслей.

Своеобразие Бабеля, человека и писателя, столь велико, что тут не ограничиться фотографией. Нужна живопись — и краски должны быть сочные, контрастные, яркие. Они должны быть столь же контрастны, как в «Конармии» или в «Одесских рассказах».

Быт одесской Молдаванки и быт Первой конной — два полюса, и они оба открыты Бабелем. На каких же крыльях облетает он их? На крыльях романтики, сказал бы я. Это уже не быт, а если и быт, то романтизированный, описанный прозой, поднятой на поэтическую высоту.

Так почему же все-таки я пишу о Бабеле, хоть и сознаю свое «литературное бессилие»? А потому, что я знал его, любил и всегда буду помнить.

Это было в 1924 году. Мне случайно попался номер журнала «Леп», где были напечатаны рассказы еще никому не известного тогда писателя. Я прочитал их и «сошел с ума». Мне словно открылся новый мир литературы. Я читал и перечитывал эти рассказы бесконечное число раз. Кончилось тем, что я выучил их наизусть и наконец решил прочитать со сцены. Было это в Ленинграде. Я был в ту пору актером театра и чтецом. И вот я включил в свою программу «Соль» и «Как это делалось в Одессе».

Успех был большой, и мечтой моей стало — увидеть волшебника, сочинившего все это. Я представлял себе его разное. То мне казалось, что он должен быть похож на Никиту Балмашева из рассказа «Соль» — белобрысого, кур-

но я знаю, какое у меня было в это мгновение лицо, но он улыбнулся.

— Не надо захватывать монополию на торговлю Одессой! — Бабель лукаво поглядел на меня и расхохотался.

Кто не слышал и не видел смех Бабеля, не может себе представить, что это было такое. Я, пожалуй, никогда не видел человека, который бы смеялся, как он. Это не был раскатистый хохот — о, нет. Это был смех негромкий, но совершенно безудержный. Из глаз его лились слезы. Он снимал очки, вытирал слезы и снова начинал беззвучно хохотать.

Когда Бабель, сидя в театре, смеялся, сидящие рядом смеялись, зараженные его смехом, а не тем, что происходило на сцене.

И до чего же он был любопытен! Любопытными были у него глаза, любопытными были уши. Он все хотел видеть, все слышать.

В вечных наших скитаниях мы как-то встретились с ним в Ростове.

— Леда, у меня тут есть один знакомый чудаков, он ждет нас сегодня к обеду, — сообщил мне Бабель.

Чудаков оказался военным. Он был большой, рослый, и еда у него была под стать хозяину. Когда обед был закончен, он предложил:

— Пойдемте во двор, я вам покажу зверя.

Действительно, во дворе стояла клетка, а в клетке из угла в угол метался матерый волк. Хозяин взял длинную палку и, просунув ее между железных прутьев, принял злбно дразнить зверя, приговаривая: «У, гад, попался! Попался...»

Мы с Бабелем переглянулись. Потом глаза его скользнули по клетке, по палке, по лицу хозяина... И чего только не было в этих глазах! В них была и жалость, и негодование, и любопытство. Но больше всего было все-таки любопытства.

Леонид УТЕСОВ, народный артист СССР

— Скажите, чтобы он прекратил, — прошептал я.

— Молчите, старик! — сказал Бабель. — Человек должен все знать. Это неукосно, но любопытно.

В искусстве Бабеля мы многим обязаны этому любопытству. Любопытство его, подчас жестокое, всегда было оправданно. Помните, что происходило в душе Никиты Балмашева перед тем, как товарищи сказали ему: «Ударь ее из винта?»

«И, увидев эту невредимую женщину, и несказанную Расею вокруг нее, и крестьянские поля без колоса, и поруганные девицы, и товарищ, которые много вздют на фронт, но мало возвращаются, я хотел прыгнуть с вагона и себя кончить или ее кончить. Но казаки имели ко мне сожаление и сказали:

— Ударь ее из винта».

Вот оно — оправдание жестокого поступка Балмашева. «Казаки имели ко мне сожаление!» И я им сочувствую, и всякий, кто жил в то романтическое, жестокое время, поступит так же.

Если же вы хотите знать, что такое бабелевский гуманизм, прочитайте в рассказ «Гедали», но только не думайте, что в нем разговаривают два человека — Гедали и Бабель. Нет. Это диалог писателя с самим собой.

«Я видел сны и женщин во сне, и только сердце мое, обгаренное убийством, скрипело и текло («Мой первый гусь»). Вот она где, правда Бабеля. Вот где я верю ему. Тяжело, но любопытно. И любопытство стало дорогой в литературу. Бабель пошел по этой дороге и не сошел с нее до конца. Дорога шла через годы гражданской войны, когда величие событий рождало мужественные, суровые характеры. Они нравились Бабелю, и он не только «скандальничал за письменным столом», изборажая их, но, чтобы быть достойным своих героев, начал «скандалить на людях». Вот откуда взялся «Мой первый гусь».

С 1917 по 1924 год Бабель по совету Горького «ушел в люди». Это был уход из дома, и он снова очутился в Одессе, пройдя длинный путь. Как у всякого одессита, у Бабеля была болезнь, которая громко именуется ностальгией, а проще — тоска по родине.

Есть очень милый рассказ об этом:

В одном маленьком городишке жил человек. Был он очень беден. И семья у него, как у большинства бедняков, была большая, а заработков почти никаких. Но однажды кто-то сказал ему: «Зачем ты мучаешься здесь, когда в тридцати верстах отсюда есть город, где люди зарабатывают сколько хотят. Иди туда. Там ты будешь зарабатывать деньги, будешь посылать семье, разбогатеешь и вернешься домой.

— Спасибо тебе, добрый человек, — ответил бедняк — Я так и сделаю.

И он отправился в путь. Дорога в город, куда он направился, лежала в степи. Он шел по ней целый день, а

когда настала ночь, лег на землю и заснул. Но чтобы утром знать, куда идти дальше, он вытянул ноги туда, где была цель его путешествия. Спал он беспокойно и во сне ворочался. И когда к концу следующего дня он увидел город, то он был очень похож на родной его город, из которого он вышел вчера. Вторая улица справа была точь-в-точь, как его родная улица. Четвертый дом слева был такой же, как его собственный дом. Он постучал в дверь, и ему открыла женщина, как две капли воды похожая на его жену. Выбежали дети — точь-в-точь его дети. И он остался здесь жить. Но всю жизнь его тянуло домой.

Вот что такое эта самая ностальгия.

— Старик, — сказал мне как-то Бабель, — не пора ли нам ехать домой? Как вы смотрите на жизнь в Аркадии или на Большом Фонтане?

А когда мы хоронили Ильфа, он стоял рядом со мной у гроба так же, как когда-то у гроба Багрицкого.

— Вам не кажется, Леда, что одесским вреден здешний климат? — спросил он меня однажды. О том же он говорил Багрицкому, говорил Паустовскому. Он всегда звал одесситов домой.

Решительно, ностальгия — прекрасная болезнь, от которой невозможно и не нужно лечиться.

И когда после «Конармии» появились «Одесские рассказы», это был гоже очередной приступ ностальгии. Герой Бабеля — Бенья Крик, прототипом которого был Мишка Япончик, стал героем вполне романтическим. Это неважно, что «подвиги» Япончика были весьма прозаичны. В них, конечно, можно было увидеть и смелость, и, если хотишь, твердую волю, и умение подчинять себе людей. Но романтики, той самой романтики, которая заставляет читателей «влюбляться» в Бенью Крика, конечно же, у Мишки Япончика не было. Зато талант писателя-романтика был у Бабеля, и он поднял своего героя на недоступную для того высоту. И он вложил в уста Арье Лейба слова о Бене: «Вам двадцать пять лет. Если бы к небу и к земле были приделаны кольца, вы схватили бы эти кольца и притянули бы небо к земле». Вот он какой, Бенья Крик. Он налетчик. Но он налетчик-«поэт». У него даже сигнал на машине с музыкой из «Пяцев». Ну до чего же это здорово, честное слово! Сколько бы раз ни перечитывал рассказы о нем, я волнуюсь, хоть и знаю, что Мишка Япончик был далеко не столь романтичен.

Бабелю противны серые люди. Я уже говорил, что он любит не фотографию, а живопись, причем яркую, сочную, впечатляющую. Вспомните Афоньку Биду, Конкина, Павличенко, Балмашева. И рядом с ними — Гедали, Любку Казак, Менделя Крика, Бенью, его брата Левку-Бына. Когда я представляю себе всех их, меня охватывает какой-то буйный восторг, мне хочется петь.

И, наконец, Бабель-драматург. «Закат!» Казалось бы, опять эта вековая тема «козлов и детей». Но как она повернула Дети, воспитывающие отца. И как воспитывающей! И снова портреты: Мендель, Бенья, Левка, Двойра, Нехам, Боярский. Любую роль, даже женскую, я был бы готов сыграть.

Пьеса шла давно во 2-м МХАТе, и мне кажется, что она не до конца была понята исполчителями. Были удачи, но были и просчеты. Бабель говорил мне, что он мечтал о таком распределении центральных ролей (в идеале) — это было еще до спектакля в МХАТе: Мендель — Б. С. Борисов, Нехам — Блюменталь-Тамарина, Двойра — Грановская, Бенья — Утесов, Левка — Надеждин, Боярский — Хенкин, Арье Лейб — Петкер. Но это были мечты, которым не суждено было осуществиться.

Бабель написал значительно больше, чем мы знаем, но его рукописи, к великому огорчению, не были обнаружены.

Свою автобиографию Бабель начинает так: «Родился в 1894 году в Одессе на Молдаванке». Если бы я писал свою автобиографию, то она начиналась бы так: «Родился в 1895 году в Одессе рядом с Молдаванкой (Треугольной пер.)». Значит, мы родились по соседству, рядом росли, но, на мою беду, в детстве не встретились, а познакомились только через тридцать лет в Москве. Ну что ж, спасибо судьбе и за это.

Бабель был огромный писатель, и этому совсем не мешает то, что литературное наследство его невелико. По существу, это одна книга, в которую входит «Конармия», «Одесские» и другие рассказы и две пьесы. Но мало ли больших писателей, оставивших нам всего лишь одну книгу. Но навсего вошедших в литературу? Ведь в искусстве, как и в науке, важно быть первооткрывателем. Бабель им был. И подумать только, что он и сейчас мог бы быть среди нас. Но его нет. И хочется сказать об этом фразой из «Кладбища в Козине»: «О смерть, о корыстолюбец, о жадный вор, отчего ты не пожелал нас, хотя бы однажды?»

МЫ РОДИЛИСЬ ПО СОСЕДСТВУ

носого, коренастого парнишку. То вдруг нос у него удлинялся, волосы темнели, фигура становилась тоньше, на верхней губе появлялись тонкие усики, и мне чудился Бенья Крик, вдохновенный иронический гангстер с одесской Молдаванки.

Но вот в один из самых замечательных в моей жизни вечеров (это было уже в Москве, в театре, где играет сейчас «Современник») я выступал с рассказами Бабеля. Перед выходом кто-то из работников театра прибежал ко мне и взволнованно сообщил: «Знаешь, кто в театре? Бабель!»

Я шел на сцену на мягких ватных ногах. Волнение мое было безмерно. Я глядел в зрительный зал и искал Бабеля-Балмашева, Бабеля-Крика. В зале не было ни того, ни другого.

Читал я хуже, чем всегда. Рассеянно, не будучи в силах сосредоточиться. Хотите знать правду? Я трусил. Да, да, да, было по-настоящему страшно.

Наконец в антракте он вошел ко мне в гримировальную комнату. О воображение, помоги мне его нарисовать! Ростом он был невелик. Приземист. Голова на короткой шее, ушедшая в плечи. Верхняя часть туловища намного длиннее нижней. Будто скульптор взял корпус одного человека и приставил к ногам другого. Но голова. Голова у него была удивительная! Большая, закинута назад. И за стеклами очков — большие, острые, насмешливо-лукавые глаза.

— Неплохо, старик, — сказал Бабель. — Но зачем вы стараетесь меня приукрасить?

5 OKT 1969